

ГОРЬКИЙ В ПЕРЕПИСКЕ С СОВЕТСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Статья Л. И. Тимофеева

1

Вряд ли в истории мировой литературы можно найти явление, аналогичное эпистолярному наследию, оставленному Максимом Горьким.

Количество его писем в общей сложности, — учитывая данные о многочисленных пропавших письмах и о письмах, находящихся за рубежом, — приближается (по сведениям Архива А. М. Горького) к 20 тысячам. Соответственно велико было и количество получаемых им писем. В Архиве А. М. Горького хранится более 13 тысяч писем только от советских писателей. Очевидно, какое богатство жизненных связей и взаимоотношений, охватывающих несколько десятилетий, множество людей, разнообразнейших исторических событий, вопросов общественной жизни, психологии, быта, стоит за этими числами.

Историческая судьба Горького сложилась так, что он был связан с центральными, узловыми проблемами своей эпохи, и это определяет значение писем Горького и к Горькому, освещающих самые различные стороны жизни первой трети XX в. и — в частности — жизни литературной.

Более 550 писем публикуется в настоящем томе «Литературного наследства». Они не только дают богатейший материал для суждения о характере эпистолярного наследия Горького в целом, но вместе с тем представляют первостепенный интерес для понимания ряда существенных вопросов развития советской литературы.

Еще в 1912 г. Горький писал с Капри П. Максимову: «Мне приходится прочитывать не менее 40 рукописей в месяц и каждый день писать три, пять, семь писем. Мой расход на почту не меньше 200 лир в месяц. Вхожу в подробности того ради, чтоб вы знали, что на меня нельзя обижаться, если иной раз я не отвечу в срок на письмо» (т. 29, с. 225). «...Иной раз, — писал К. Федин Горькому (27 марта 1926 г.)¹, — почту привозят вам на извозчике, а вы аккуратнейше все прочитываете, книги и рукописи, расставляете запятые малограмотным авторам, сердитесь, но все же читаете ночами напролет. У меня волосы стали дыбом, когда я подумал, что этакая война с рукописями и письмами тянется у вас всю жизнь!». И Горький писал Федину: «Писем получаю полсотни — в среднем, ежедневно...» (21 апреля 1928 г.) и жаловался М. Ф. Андреевой (13 июля 1925 г.): «Так много пишешь писем, что не хватает времени читать книги, а читать надобно много» (т. 29, с. 432) и С. Подъячеву (24 февраля 1931 г.): «Вы представлять не можете, как много приходится мне писать. Вот вчера я получил 17 писем, сегодня — 14, и добрый десяток их требует обстоятельных ответов» (т. 30, с. 205). Письма его пестрят упоминаниями: «...это письмо вам сегодня одиннадцатое...» (Федину, 16 марта 1927 г.). «Постепенно превращусь в „письмописца“, — шутил он в письме к Илье Груздеву от 31 декабря 1927 г. (Илья Груздев. Мои встречи и переписка с М. Горьким. — «Звезда», 1961, № 1, стр. 160).

Исключительно широкий размах приобрела переписка Горького после Великой Октябрьской социалистической революции и в особенности его переписка с советскими писателями.

«Сколько он отдал труда на письма, в которых он с присущим ему вниманием подробно анализировал <...> романы, повести, рассказы, очерки, поэмы, стихи, пьесы,

то восторгаясь новизной прочитанного <...>, то радуясь появлению нового талантливого произведения!

Нельзя называть имена этих писателей, потому что пришлось бы перечислить всех существующих и уже умерших писателей, потому что все мы так или иначе были в поле его внимания, сидели у него за писательской беседой, видели его среди нас на литературных собраниях и заседаниях, слышали и читали его многочисленные отзывы о наших произведениях», — вспоминал Н. Тихонов («Литературная газета», 1946, № 26, от 22 июня).

Эта переписка и, в частности и в особенности, переписка с писателями, представляет собой немаловажную сторону творческой деятельности Горького, составляет одну из существенных граней его творческого облика, необычайно богато и полно характеризует его личность писателя и вместе с тем освещает самые различные области того огромного мира разнообразнейших человеческих отношений, с которым был связан Горький. С. Маршак справедливо заметил, что «когда-нибудь, собранные воедино, эти письма покажут, с каким широким миром был связан великий писатель и замечательный человек» («Правда», 1936, № 347, от 18 декабря). В этом смысле переписка Горького уже теряет, так сказать, частный и личный характер, она превращается в явление большого общественного и исторического масштаба.

«Горькому писала Россия — старая и молодая, писал Советский Союз», — очень верно сказал Федин (Конст. Ф е д и н. Горький среди нас, ч. II. М., Гослитиздат, 1944, стр. 73). «Где-то далеко от России, — писал он Горькому (7 декабря 1924 г.), — вы слушаете и слышите ее так, как будто бы ни на час не покидали ее. Так здесь в Питере вы стягивали у себя на Кронверкском бесчисленные нити со всех концов — Сибири, Севера, Юга». И сам Горький высказал ту же мысль в письме к А. Цинговатову (15 марта 1927 г.): «Живу я — в России, о чем свидетельствует почта, получаемая и отсылаемая мною. Это письмо сегодня девятое».

О том, какое значение имела эта переписка для самого Горького, он сказал в «Беседе с писателями-ударниками» (11 июня 1931 г.): «Меня спрашивают: интересовался ли я письмами, которые мне присылают, и какого я о них мнения? Было бы странно, если бы я не интересовался такими письмами. Ясно, что я ими интересовался, и, аллегорически выражаясь, я ими кормлюсь. Они дают мне знание той действительности, в которой вы живете, которую вы же и творите. Это тот заряд энергии, который позволяет мне говорить с вами таким тоном, которым я говорю, а я говорю с вами, как будто не неделю только приехал, а давно здесь живу. Это значит: я говорю о правде, которую знаю. А знаю я ее потому, что получаю по пятнадцать-двадцать писем в день. Когда люди из глухой щели пишут, как там живут, ругаются, как им трудно и как они все-таки работают, то ясно, что для меня это исторический документ — документ эпохи, и таких документов я имею уже тысячи. Со временем это будет материал, который кто-то прочтет, обработает, и я думаю, что этот материал даст действительно изумительную картину тех дней, в которые мы живем» (т. 26, с. 84—85).

Выступая в своей переписке в значительной мере как учитель и воспитатель молодых советских писателей, Горький настойчиво говорил и о том, что сам он учился у них: «...не стыжусь учиться даже и у „начинающих“» (Гладкову, 2 октября 1927 г.). «Учусь и по сей день, — писал он, обращаясь к М. Пришвину в декабре 1926 г., — и не только у вас, законченного мастера, но даже у литераторов, моложе меня лет на тридцать пять, у тех, которые только что начали работать, чьи дарования еще не в ладах с уменьем, но голоса звучат по-новому сильно и свежо» (т. 24, с. 264).

В нашей критике наметилась тенденция воспринимать эти слова Горького о том, что он учится у советских писателей, в узколитературном смысле. Отсюда возникает стремление искать следы влияния советской литературы в сюжетах, характерах, лексике позднего Горького². Вряд ли это верно и вряд ли эти поиски будут плодотворны. Горький, конечно, прежде всего имеет в виду то богатство жизненного опыта, которое несли в себе письма к нему советских людей. В статье «Об анекдотах — и еще кое о чем» (декабрь 1931 г.) он очень ясно выразил свое представление об этом: «Лично меня всю жизнь учили и продолжают учить. Учили Шекспир и Сервантес, Август Бебель и Бисмарк, Лев Толстой и Владимир Ленин, Шопенгауэр и Мечников, Флобер

и Дарвин, Стендаль и Геккель, учил Маркс, а также библия, учили анархисты: Кропоткин, Штирнер и „отцы церкви“, фольклор и плотники, пастухи, рабочие фабрик и тысячи других людей, среди коих я прожил полсотни лет сознательной жизни. Я не нахожу, что в школе, которую я оканчиваю, преподавалось и преподается нечто лишнее для меня. Продолжая учиться у Ленина и его учеников, я чувствую, что меня одновременно учат и не очень грамотные наши ударники и весьма грамотный Шпенглер, корреспонденты мои тоже кое-чему учат меня. В конце концов я называю это „прохождение“ столь пестрого курса наук обучением у действительности» (т. 26, с. 205).

Что касается «обучения» Горького у советских писателей в чисто литературном плане, то можно, пожалуй, выделить рассказ «О тараканах» (1925 г., см. т. 15). Сам Горький по поводу этого рассказа в письме к Федину (5 февраля 1926 г.) заинтересованно спрашивал: «Мне было бы весьма интересно — и полезно — знать, мерцает ли в нем нечто не „от Горького“? Это — серьезный вопрос для меня».

И действительно, — рассказ этот отмечен очевидной тенденцией к подчеркнутой «литературности», к тому, что в те годы носило демонстративное наименование «обнаженности приема», характерной для прозы «Серапионовых братьев»: повествователь, увидев на берегу озера умершего неизвестного человека, размышляет о том, что «совершенно недопустимо существование какого-то человека, который не имел бы своей истории» и «придумывает» для неизвестного его историю. Рассказ заканчивается словами: «Разумеется, вполне возможно, что „нездешний“ человек, умерший „на ходу“ — не тот, о котором я рассказал; что он не так жил, не так чувствовал и думал. Но — все существует лишь для того, чтоб о нем было рассказано. И совершенно недопустимо, чтобы какой-то человек валялся мертвым ночью, у камня, на берегу лужи, и чтоб поэтому нельзя было ничего рассказать» (т. 15, с. 417).

Но черты нарочитой «литературности» не характерны для прозы Горького двадцатых годов. Да и в этом рассказе в центре стоит история жизни Платона Еремина, сына жандармского вахмистра, данная — за исключением охарактеризованного выше композиционного обрамления — в чисто горьковской манере.

Горький и в переписке с писателями учился прежде всего у действительности. За рубежом, в трудной обстановке, среди зачастую чуждых советскому строю людей, — при всем единстве с Советской страной ошибаясь иногда в оценках тех или других отдельных явлений жизни в Стране Советов (характерно его отношение к деревне, развившейся, например, в письмах к И. Вольнову, помещенных в этом томе), — он черпал в переписке с советскими людьми тот необходимый для него опыт новой жизни, который давал ему возможность ощутить новизну социалистического уклада во всей его конкретности и неповторимости. В самом тоне горьковских писем звучит та радость, с какой воспринимал он эту возможность чувствовать нерасторжимую связь со своим народом. «Получил множество писем из России» (А. Толстому, сентябрь 1922 г.), «Много интересного на святой Руси, каждый день я получаю три-четыре письма даже из Якутии, с Алданских приисков пишут» (Д. Лутохину, 15 февраля 1926 г. — «Ленинград», 1940, № 11—12, стр. 25). Письма чередовались с частыми встречами с советскими людьми и — в первую очередь — с советскими писателями: «Был у меня Леонов<...> Был Катаев<...> Скоро увижу Всеволода Иванова, Никулина, Ольгу Форш, Полонского. Вон сколько!» (С. Н. Сергееву-Ценскому, 7 сентября 1927 г., т. 30, с. 34).

Характерно, что отношения Горького с В. Ходасевичем (они вместе издавали в Берлине в начале двадцатых годов журнал «Беседа», в котором помещались, наряду с произведениями зарубежных писателей, произведения, присылавшиеся советскими писателями) значительно ухудшились, в частности, и после того, как Ходасевич заявил Горькому, что в России «нет воли к работе». И Горький резко писал ему: «Воли к работе у нас больше, чем где-либо в современной Европе» (13 августа 1925 г. — «Новый журнал», Нью-Йорк, XXXI, стр. 204). А. Серафимович писал в свое время о Горьком: «Его голос, голос правды о строящемся социализме в стране пролетарской диктатуры звучит до самых далеких краев» (А. С е р а ф и м о в и ч. Воспоминания о Горьком. — Собр. соч., т. X, М., Гослитиздат, 1948, стр. 425). Эту правду во многом подсказывала Горькому его переписка с Россией. Вот почему — и в двадцатые годы в особенности —

так много сил, как будто даже в ущерб непосредственной работе, отдавал Горький переписке, другими словами — живой непосредственной связи с самыми различными сторонами жизни своей страны. Именно она в годы его жизни за границей была для него «живой водой», дававшей ему в значительной мере силу и стойкость в той борьбе, которую он вел за советскую культуру.

И, конечно, на первом месте стоял для Горького тот новый человек, который рождался в России.

Воспоминания Д. Лутохина «Горький в период 1923—1934 гг.» дают ясное представление именно об этой стороне переписки Горького: «Со всех концов земли стекались корреспонденции к А. М. Горькому, отовсюду съезжались к нему люди разных племен, профессий, воззрений. Горький затрачивал на общение с людьми огромное количество времени. Однажды критик А. Г. Горифельд высказал мне свое удивление такой растратой Горьким своих часов. Я передал Горькому слова автора „Мук слова“ и присоединился к ним. А. М. откликнулся так: „Закопчил II том „Клима“ и вот третий день с утра до вечера пишу письма и увлекаюсь не эпистолом, а человеком. С ума меня сводят эти вчера проснувшиеся в Моршанске, в Алапаевске, в Уфе и прочих темнейших углах земли и человека. Вот женщина 39-ти лет, освободившаяся от бога, спрашивает: так ли, надо ли..., а вот человек 59-ти лет Гете прочитал, увлекся Мефистофелем, провозгласил его властителем мира. А 17-летний юноша желает изучать миф о Прометее. И стихи, стихи, стихи... Все хотят учиться и все не тому, чему учит жизнь, и все своевольничают..., а я своевольных люблю“» (25 февраля 1928 г. — «Ленинград», 1940, № 11—12, стр. 24).

2

Но этот процесс духовного общения с родиной не был односторонним. Те идеи, эмоции, жизненный опыт, которые несли Горькому письма советских людей, возвращались от него обратно обогащенными, как бы помноженными на силу его духа и творческое воодушевление, приобретали новое общественное значение.

Современники не уставали отмечать ту роль, которую играли письма Горького в общественно-литературной жизни Советской России. «...Каждое ваше письмо — это событие не только в моей жизни, но и в жизни писателей», — с характерным для него пафосом писал Гладков (16 апреля 1926 г.). И в другой, чуть иронической манере об этом же писал Горькому Пришвин: «Письма Горького наполнили весь литерат(урный) мир» (2 февраля 1927 г.); «Писатели ходят в редакцию с письмом Горького в кармане, и когда рука опускается в карман, редактор говорит: „Знаю, знаю...“» (27 июня 1927 г.). Письма Горького проникали в печать, их публично читали, цитировали, обсуждали. Горький вынужден был даже выступить в «Известиях» в январе 1927 г. с протестом против публикации в печати его частных писем (т. 30, с. 7).

Справедливо писал Горькому Гладков (январь, до 20-го, 1926 г.): «...в нашей литературе вы — единственный писатель, который пользуется исключительным, непререкаемым авторитетом, каждым вашим словом *живут* здесь не днями, а месяцами и даже годами».

Еще в 1921 г. В. Воровский шутил в письме к Горькому из Италии: «Попеже вы являетесь насадкой современной русской литературы ипод вашим... боком греется не мало гениев больших и малых, то окажите услугу отечеству, этим гениям и вселенной, поручив надежному человеку подобрать в двух экземплярах всю поэзию, беллетристику и пр. проявления русского духа (ох!), появившиеся в свет в России под большевистским игом <...> А получить эти вещи очень нужно как для издания на итальянском, так и для использования в прессе» (АГ).

Роль писем Горького увеличивалась с каждым годом: «Все влияния отступили на задний план перед влиянием Горького» (Конст. Федин. Горький среди нас, ч. II, стр. 145).

Письма Горького, встречи с ним писателей, связанные с этими письмами, воспринимались как существенные события духовной жизни. О «решающей оценке» просит его Федин (28 января 1920 г.): «Великую веру в себя дала мне наша встреча, веру и силу», —

писал Горькому Леонов (декабрь, до 25-го, 1927 г.). Как к человеку, «ставшему неразлучным нашим спутником, другом, душевным судьей, примером», обращается к нему Бабель (10 апреля 1928 г.). «Мысль о вас,— говорит он Горькому,— заставляет кидаться вперед и работать изо всех сил. Ничего лучшего нельзя придумать на земле». Мы постоянно читаем в письмах и воспоминаниях: «Решительное, огромное влияние...» (Ф. Г л а д к о в.—«Журналист», 1928, № 3, стр. 6). «Огромное значение в моей литературной биографии...» (К. Т р е н е в. Автобиография. — Сб. «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков». Изд. 2. М., 1928, стр. 348). «Большая зарядка, бодрость и желание работать...» (М. Шолохов, 6 июня 1931 г.). «Если вы считаете необходимым поговорить со мной по поводу прочитанного, то <...> я с большой радостью примчусь на день в Москву» (в том же письме).

Все это лишь немногие примеры того восприятия писем Горького и встреч с ним, о котором говорят писатели-современники. Речь шла при этом не только об общем так сказать, воодушевляющем воздействии Горького на писателей. Его творческая связь с ними выражалась в непосредственном и тесном участии Горького в их поисках и замыслах, в их работе над образом, сюжетом, языком. А. Афиногенов, например, не раз говорил о том, что Горький давал ему «пригоршни фактов, интереснейших тем, необыкновенных характеров,— берите, если это может хотя как-то помочь вам в работе» («Красная новь», 1932, № 9, стр. 153). О данном Горькому слове «засесть за автобиографическую книгу» говорит Гладков (22 января 1933 г.).

Письма Горького заполнены подробнейшим анализом языка, сюжетов, характеров, идейных тенденций многочисленных произведений советских писателей, советами, затрагивающими самые различные области литературного мастерства, и в особенности, советами начинающим писателям. Интерес к творчеству начинающих писателей был у Горького глубоко взвешен и продуман. Он отвечал В. Я. Зазубрину по поводу его замечаний о «назойливости», с которой к Горькому «лезут литературные младенцы»: «Знали бы вы, В<ладимир> Я<ковлевич>, сколько на путях моих я встретил замечательно талантливых людей, которые погибли лишь потому, что в момент наивысшего напряжения их стремлений — они не встретили опоры, поддержки. Вот отсюда и происходит мое отношение к „литературным младенцам“, дважды родственным для меня — как люди с направлением к лучшему и как люди, желающие пойти путем, который мною уже пройден и снабдил меня известной долей опыта, которого у них — нет» (23 февраля 1928 г., т. 30, с. 73). И к этой же мысли он возвращается в письме к Д. А. Лутохину (18 июля 1930 г.): «„Графаманами“ вы поименовали моих корреспондентов — напрасно и обидно. Люди хотят учиться, а это — не плохо. Литераторами будут единицы, но десятки и сотни станут грамотнее. Это я говорю на основании длительного опыта и множества фактов. Люди, которые — со временем и в недалеком будущем — займутся моим архивом, увидят, что я — прав и не преувеличиваю. Я очень хорошо помню, чего стоила мне моя „учеба“, и было бы странно, если б я не пытался посылить облегчить молодым людям путь к „познанию действительности“ <...> Нет, надо учиться учить» (т. 30, с. 175—176).

В этом стремлении поддержать начинающего писателя он, в частности, исходил из мысли, — которая может вызвать и возражения, но к которой он не раз возвращался, — что учить писателя литературному мастерству может только писатель. «...Никогда и не было у нас критики, полезной художнику, — писал он Б. Лавреневу (12 июля 1926 г.). — Лично я думаю, что таковой может явиться лишь самокритика. И не думаю, чтоб Белинский, Добролюбов и другие помогли росту словесного искусства. Они были существенно полезны тем, что учили русского читателя понимать смысл читаемого, но — скажите-ко, чем обязаны критике Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Лесков и т. д.? <...> Всем „молодым“ я упрямо советую: „критикуйте сами себя, лучших критиков вам не найти“» (т. 29, с. 471)³.

Таким образом, и обогащение собственного опыта в переписке со старой и молодой Россией, и стремление избавить молодых писателей от трудностей, испытанных им, — все это определяло творческий пафос того своеобразного «послуга», который взял на себя Горький, отдавая переписке с литераторами значительную долю своих творческих сил.

Но главное, конечно, было все же не в этом. Центральную идею переписки Горького с советскими писателями можно определить его же словами: «Литературная работа в наши дни — работа государственного значения» (Горький Дубровину, 7 июля 1931 г.). И эти слова Горького в особенности позволяют понять воодушевление, которое он вкладывал в свою переписку, и тот размах, с которым он ее вел.

Перечисляя списки книг по самым различным вопросам, которые просил ему высылать Горький, И. Груздев замечает: «Поразительно, как много читал Алексей Максимович и хороших и плохих книг, какое разнообразное чтение. Как жадно требовал он все книги, выходящие в Советском Союзе, немедленно давая на них отзыв, если спросишь его мнение, да и по своей инициативе часто. Как молодо он откликался на то, что прочитанную книгу, сопоставляя ее со всем комплексом русской литературы» (Илья Груздев. Мои встречи и переписка с М. Горьким. — «Звезда», 1961, № 1, стр. 149).

3

Горький сразу же уловил тот процесс превращения художественной литературы в Советской России в «крупную общественную силу», который был уже в 1923 г. отмечен в резолюции XII съезда партии («КПСС в резолюциях...», ч. I, 1953, стр. 736).

Уже в те годы он ясно видел, какое международное, мировое значение начинает приобретать советская литература, несущая зарубежным читателям небывалый, революционизирующий опыт Октября. Это и определило понимание им ответственности, которая ложилась на плечи советских писателей, его постоянные настойчивые заботы в письмах о переводах их произведений на зарубежные языки, выступления в зарубежной печати о советской литературе.

Этим определялось, в конечном счете, и значение той непосредственной творческой связи его с советскими писателями, которая осуществлялась им в напряженной ежедневной работе над письмами с родины и на родину.

16 июня 1924 г. Горький писал И. Калининкову: «...за последние годы и Европа и обе Америки начали относиться к русской литературе с тем серьезным вниманием, которое она давно заслужила <...> Русская литература имеет все данные для того, чтоб быть литературой европейской <...>. Наш опыт должен быть и будет опытом, имеющим всемирное значение. Он совершенно исключителен. Отсюда вывод: русский писатель ныне является не только русским, как раньше был. Его книги переводят не только в Европе, но и в Азии — в Китае, и Африке — в Египте, а посему — еще раз — писать надо так, чтоб люди нас понимали» (АГ). И в беседе с корреспондентами тбилиских газет (27 июля 1928 г.): «...мы создали литературу, которой можем похвастаться перед Европой» (сб. «М. Горький о родине». М., Гослитиздат, 1945, стр. 222).

Позже в письме к Афиногенову (апрель, после 12-го, 1933 г.) Горький с особенной ясностью выразил это понимание всемирно-исторического значения советской литературы: «Нам, литераторам Союза Советов Социалистических, давно уже пора усвоить простую истину: мы пишем не только для пролетариев Союза нашего, но — для пролетариата всех стран. Это — факт неоспоримый, он возлагает на нас огромнейшую ответственность».

Из понимания этих задач, стоящих перед советской литературой, и вытекало то огромное внимание, с которым Горький относился к процессу ее развития.

Естественно, что внимание Горького в особенности было направлено в сторону молодых писателей: они и нуждались больше в поддержке, а с другой стороны, они и были прежде всего носителями того нового опыта, который должен был определить новизну содержания и формы советской литературы. «Молодой наш писатель, — говорил он, — заслуживает внимательнейшего и очень бережного отношения <...> Надо помнить, что наши молодые писатели, работая в условиях крайне тяжелых, все-таки за десять лет создали обильную и оригинальную литературу... „Великих“ писателей нет? Подождите, будут <...> отношение к молодым писателям должно быть в высшей степени заботливым и бережным» (Илья Груздев. Мои встречи и переписка с М. Горьким. — «Звезда», 1961, № 1, стр. 154—155).

Этот интерес к литературной молодежи, вступившей в литературу в двадцатые годы, красной нитью проходит через всю переписку Горького: «Я с великим трепетом слежу, как растет на Руси новая литература, и многим восхищаюсь. Богатые всходы! Это — хорошо» (А. Демидову, 15 мая 1925 г.).

В письме к Е. Зозуле (30 апреля 1925 г.) Горький говорил: «...если б вы знали, как дорога мне каждая строчка, которая сейчас пишется в России вами, začínателями какой-то новой литературы. С жадностью слежу за всем и жду великого, зная, что оно в мире нашем слагается из мелочей» (АГ).

В письмах к Сергееву-Ценскому (15 августа 1927 г.) и ко многим другим писателям Горький не устал повторять: «Очень люблю я наблюдать, как растет молодежь...» (т. 30, с. 32).

Тщательно следя за всеми новыми именами, появлявшимися в советской литературе, отвечая на все письма, которые шли к нему от молодых писателей из России, Горький был, порой, излишне щедр на добрые отзывы и положительные оценки. Правда, эта щедрость возникала только тогда, когда Горький чувствовал у своих собеседников и корреспондентов хотя бы искру таланта. Если ее не было, он умел находить и в достаточной мере твердые и жесткие слова: «...примите дружеский совет: бросьте писать! Ничего у вас не выйдет <...> главное — нет у вас никаких способностей для литературного труда» (В. Н. Багрову, 1 апреля 1930 г.).

Или: «Дружески советую вам: бросьте писать, попытайтесь удовлетворить вашу „жажду творчества“ чем-нибудь другим. Для работы писателя у вас нет главного: серьезного отношения к литературе» (Н. Новицкому, 8 февраля 1933 г. АГ).

Но в основном в щедрости Горького была, конечно, и своя несомненная система: «О молодых писателях, — говорил он, — очень хочется написать, очень! Я — всех знаю, читаю и многие весьма радуют. А всех — необходимо приободрить» («Известия Академии наук СССР, Отделение общественных наук», 1938, № 5, стр. 53).

В письме к Д. Лутохину в мае 1925 г. Горький очень тонко заметил: «Мне кажется, что в данное время и *нечестно* да и неинтересно подходить к оценке молодых писателей со стороны исключительно эстетической» (АГ), а в письме к Ольге Форш Горький уже прямо определил смысл своей, если можно так выразиться, эпистолярной политики: «Меня, слышал, упрекают, что неразборчиво хвалю. Возможно, что это так и есть, ибо частенько я хвалю для того, чтобы „поддержать“, раздуть огонек, — м<ожет> б<ыть>, вспыхнет пламя» (5 сентября 1926 г.). Горький, конечно, отчетливо видел, что в творчестве молодых писателей многое отнюдь еще не заслуживало похвалы: «Нашей стране нужны тысячи писателей, и вот — они идут неуклюже, крикливо, но — смело и с большой силой. У многих шапки набекрень, мозги — тоже, но — это пройдет» (А. Демидову, 15 мая 1925 г.). Но главным для него было стремление поддержать наиболее положительные черты рождавшегося революционного искусства, поэтому в его оценках писателей того времени многое понятно именно в рамках исторической обстановки. И эта «приподнятость» была, безусловно, вполне исторически оправдана.

В условиях литературного развития двадцатых годов, в особенности первой их половины, эта позиция Горького имела, конечно, чрезвычайно существенное значение. Пестрая и противоречивая картина творческих поисков, блужданий, а зачастую и заблуждений, литературных споров, достигавших крайней остроты и переходивших порою за грани допустимого, естественно, ставила перед писателями очень трудные вопросы. По-своему они решались писателями старших поколений, которые шли в революционную литературу с тяжелым грузом еще не преодоленных идеологических влияний и предрассудков. С другой стороны, молодежь, привнесшая в литературу богатый жизненный опыт, не располагала еще необходимым опытом литературным, наконец, самый жизненный материал еще отстоялся далеко не в такой степени, чтобы можно было уверенно и безошибочно находить те литературные формы, которые бы ему в наибольшей степени отвечали. И сам Горький, как известно, в начале двадцатых годов далеко не всегда находил наиболее верный путь к решению многих вопросов. И об ошибках его в это время уже не раз говорилось в нашей критике.

Глубокую характеристику творческих трудностей, встававших перед писателями в начале двадцатых годов, дал Горький в письме к Федину (17 сентября 1925 г.): «Почти все современные молодые писатели и поголовно все критики не могут понять, что ведь писатель-то ныне работает с материалом, который зыблется, изменяется, фантастически соединяя в себе красное с черным и белым. Соединяя не только фантастически, но и неразрывно. И современное искусство еще не настолько мощно и всевластно, чтобы преодолеть эту сложность бытия, где правда с неправдою танцует весьма запутанный и мрачный танец».

В этих условиях художественный опыт Горького приобретал для молодой советской литературы особенное значение. Потому-то, в частности, и воспринимались с таким вниманием и жадностью его письма советскими писателями, что они находили в этих письмах творческую перспективу и широкую литературную оценку, которые были шире и объективнее споров, кипевших между литературными школами и группировками. В письме к Федину (20 декабря 1924 г.) Горький энергично подчеркивал именно то, что он в своих литературных суждениях не связан борьбой литературных группировок: «Школы, тенденции литературы для меня значения не имеют и поучительны лишь внешне, поскольку они являются одним из признаков стремления человека делать свое дело как можно лучше, выражением его бесчисленных усилий найти в себе *суть самого себя*, коренное свое, человеческое». Он улавливал — и с достаточным основанием — в борьбе литературных группировок и ту, к сожалению весьма значительную, примесь групповщины, которая чрезвычайно осложняла и с каждым годом все более вредно сказывалась на развитии советской литературы.

«Среди литераторов одного и того же лагеря, — писал он И. Ф. Жиге (15 августа 1929 г.), — нет единогласия. Факт крайне печальный и опасный. Констатировать наличие его — необходимо, но не в той форме, как это делаете вы, усугубляя тоном своим ожесточение и вражду в своей же, революционной среде» (АГ). И в письме к Чумандрину (12 июня 1930 г.): «Разногласия ваши очень сильно смущают меня. Весьма часто кажется, что все вы ищете друг в друге именно разногласия и что стремление к единогласию меньше интересует вас» (т. 30, с. 172).

Говоря о «мелочной, схоластической полемике всех со всеми» (там же), и — позднее — о том, что у нас «люди делают великолепное, мирового значения дело, но все еще не могут научиться уважать друг друга за это, не говоря уже о том, что не умеют восхищаться друг другом» (М. Россовскому, 7 марта 1934 г.), Горький резко отделил мелкие и частные групповые раздоры от основного реального смысла литературного развития двадцатых и тридцатых годов.

О том, что «богатая и пестрая литературная жизнь нашего Союза была до сих пор в состоянии розни и затяжной междуусобицы», что «литературные группы обессиливали друг друга в борьбе», говорил А. Толстой в 1926 г. (А. Т о л с т о й. Полное собрание сочинений, т. 13. М., Гослитиздат, 1949, стр. 298). Против вредного влияния группировок, изживавших себя к концу двадцатых годов, выступали Маяковский, Леонов и другие писатели.

Опубликованная в 1925 г. Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» вносила в литературную жизнь и, в частности, в борьбу литературных групп очень существенное и определяющее развитие советской литературы начало, подчеркивая, что сущность литературного процесса состоит в объединении советских писателей, в постепенном переходе их на рельсы социалистической идеологии. Организация в 1927 г. Федерации объединений советских писателей (ФОСП) являлась прямым следствием осуществления этой основной идеи литературной политики партии, одним из шагов на пути к творческой консолидации писателей, вскоре реализовавшейся в создании единого Союза советских писателей. ФОСП располагала издательством, газетой, что также должно было способствовать сближению литературных групп, устранить то положение, о котором резко высказывался Горький: «Если А принадлежит к группе Б, то все другие буквы алфавита для него или враждебны, или не существуют» (т. 24, с. 323). Идея творческой консолидации писателей, борьба с «затхлостью злейшей „кружковщины“, «вредной замкнутостью в тесных квадратиках групповых интересов» (там же), составлявшая один из основных мотивов писем



ГОРЬКИЙ

Фотография, Позвильно (близ Неаполя), 1926 г.
Музей Горького, Москва

Горького к советским писателям, свидетельствовала о той зоркости, с которой он вглядывался в литературную жизнь, и о богатстве материала, который давала ему его переписка.

Широкая литературная перспектива, которой располагал Горький, позволила ему сразу же понять определяющее значение для развития советской литературы Резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы»: «...резолюция эта, несомненно, будет иметь огромное воспитательное значение для литераторов и сильно толкнет вперед русское художественное творчество», — писал он в июле 1925 г. М. Ф. Андреевой (т. 29, с. 432).

Переписка Горького с советскими писателями, публикуемая в настоящем томе «Литературного наследства», позволяет с полной определенностью сказать, что наше представление о характере развития советской литературы, в частности в двадцатые годы, было бы весьма неполно, если бы мы не учитывали того существенного влияния, которое оказывал на нее Горький своим разносторонним живым творческим контактом с большинством советских писателей и самым непосредственным участием в разрешении творческих проблем, которые вставали перед ними.

4

В 1919 г. Горький написал предисловие к предполагавшемуся выпуску (в книгоиздательстве З. И. Гржебина) «Сказок об Италии». «Мы любовно ухаживаем за цветами, — говорилось в этом предисловии, — мы пламенно любим множество других прекрасных бесполезностей, таких же, как цветы, а вот за душой человека, за сердцем его, — не умеем так ласково ухаживать, как следовало бы.

Надо поучиться этому, — ведь человек, несмотря на всю его неприглядность, — все-таки — самое великое на земле.

Если люди знают, как они плохи, — это верный залог, что они станут лучше.

Хула на человека — нужна, но похвала ему того более необходима, и, вероятно, полезнее хулы» (т. 10, с. 516).

Пафос утверждения человека и сознание, что именно революция разбивает препятствия, стоящие на пути к его освобождению, что задача писателя прежде всего и состоит в создании образа человека революции — в этом, несомненно, центральная идея писем Горького, обращенных к советским писателям.

«...В России рождается большой человек, — писал он Федину 28 июля 1924 г., — и отсюда ее муки, ее судороги». И в другом месте (в статье о «Серapiоновых братьях», АГ): «Ныне значительность личности в процессе истории все возрастает, о чем громкоподобно говорит нам история наших трудных дней» (1923 г., между 5 марта и 11 апреля).

Для начала двадцатых годов эта мысль Горького была особенно существенной, поскольку очень не сразу и очень не легко сумели советские писатели разглядеть человека и, главное, новое в человеке в первые годы революции.

На пути к пониманию нового человека советская литература прошла и через абстрактный романтизм «Кузницы», и через схематизм ранних произведений Маяковского, и через растворение человека во «множествах», в стихийном движении масс.

В упомянутой статье о «Серapiоновых братьях» Горький писал: «Мы знаем, что на земле нечего любить, кроме человека, нечем возмущаться, кроме деяний человека, нечем любоваться, кроме творчества человеком новых форм жизни и красоты». Но из тогдашних произведений советских писателей лишь очень немногие могли быть соотнесены с этим призывом Горького. А именно к изображению человека и звал Горький советских писателей: «Подлинную историю человека пишет не историк, а художник» (Федину, 20 декабря 1924 г.). В том же письме к Федину Горький обосновал свое постоянно отрицательное отношение к творчеству Бориса Пильняка именно тем, что видит у него «полнейшее равнодушие к ценнейшему живому материалу искусства — к человеку».

С наибольшей полнотой участие Горького в литературной жизни двадцатых годов выразилось в его обширной переписке с К. Фединым, широко представленной в настоящем томе.

Переписка эта имела глубоко принципиальное значение. Федин ставил перед Горьким такие существенные вопросы, ответы на которые определяли задачи, стоявшие перед советскими писателями в эти годы, и Горький, отвечая Федину, по сути дела отвечал не только ему, а откликался на те творческие проблемы, которые — каждый по-своему — решали советские писатели.

В этой своеобразной дискуссии Федин во многом выступал еще как представитель литературной традиции, сложившейся в нашей литературе к началу Октября, тогда как Максим Горький формулировал в этой полемике именно новаторские задачи советской литературы.

Характерен в этом смысле спор об отношении искусства к действительности в связи с заявлением молодого писателя о том, что художник может «отталкиваться от ничтожного „знания“, вверяясь воображению, и часто глубокие знания только мешают художественной правде» (Федин, 28 декабря 1924 г.). Отвечая на эти мысли Федина, говорившего, в частности, что многие герои его романа «Города и годы» — результат «чистого вымысла», Горький писал, отстаивая приоритет жизненной правды как основы художественного творчества: «...все это не „чистый вымысел“, а именно та подлинная реальность, которую создает лишь искусство, та „вытяжка“ из действительности, тот ее сгусток, который получается в результате таинственной работы *воображения художника*. Если вы — художник, все, что вы когда-либо узнали, будет вами, незаметно для вас, превращено в то, что вы называли „чистым вымыслом“. Черты Лепендина — в тысячах людей, встреченных вами, пыль впечатлений, которые вы получили от них, слежались в камень — явился Лепендин» (9 января 1925 г.).

Крайности сходятся, — преувеличение роли вымысла сочеталось у Федина с тем «покорствованием фактам», против которого в те годы не раз выступал Горький: «...главное: все позволяют действительности одолевать себя, покорно подчиняются фактам» (Груздеву, февраль 1929 г., т. 30, с. 126). Освобождая вымысел, обобщение, перспективу от реальности, от связи с действительностью, можно впасть и в обратную ошибку — освободить и реальность от перспективы, обобщения (присущих, в частности, истинно художественному вымыслу), т. е. ограничить реалистический кругозор, обеднить понимание художником самого направления жизненного процесса. Этой ошибки не избежал и Федин с той позицией «жалеющего гуманизма», которая характерна для его писем, относящихся к концу 1925 г. и началу 1926 г., гуманизма «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных», «Шинели».

«...Мне не дано, — писал он (16 января 1926 г.), — вашей действительной любви к человеку: я, кажется, всегда только жалею, и восхищаюсь скупой и ненадолго. На замечательного, красивого, умного и, конечно, полезного рысака — например — я всегда немножко досадую, а забитая и ничемная кляча меня волнует глубоко. Я знаю, что в этом — порок моего зрения, но лечиться у меня не хватает выдержки, а очков я не люблю. Словом, я смирился перед неизбежностью до конца дней моих любить только жалкое и ненужное», и в другом письме (11 февраля 1926 г.): «„Клячи“ же — право — трогают меня, художника, до слез, мне *нельзя* не писать о них... <...> *Несчастье* привлекает меня неизменно. Удача, преодоление, победа — оставляют меня равнодушным. Уроды, сумасшедшие, юридические, кликуши, лишние люди положительно не дают мне покою... <...> я думаю, что „Акакий Акакиевич“ подлинно *воспитал* русского читателя».

Горький отвечал Федину (28 января 1926 г.) подчеркнуто резко: «Муму Тургенева, Акакий Акакиевич Гоголя и другие „клячи“ — это больше ненужно, это — патока, которой не подсластишь горечь жизни нашей, замазка, которой не закроешь глубокие, непоправимые трещины современных форм государства». Спор, таким образом, переходил в широкий политический план. И это — не случайно: поскольку в письмах Федина и Горького, относящихся к осени 1925 г., вопросы о «жалеющем гуманизме» были поставлены в более конкретном плане по поводу мыслей Федина о том, что «будущая-то культура обопрется именно на крестьянина, а никак не на понукальщиков» (сентябрь, около 10-го, 1925 г.). И тогда же Горький отвечал ему: «Ведь „понукающие“ несут в жизнь именно живую, новую истину, и поэтому они являются творцами культуры. Именно — они. Так всегда было и будет <...> Все мои симпатии на стороне „понукаю-

щих“ <...> Все это я говорю потому, что мне показалось: в письме вашем вы покорствуете фактам. Это вредно для художника, который, по существу своему, принадлежит к секции „понукающих“. Именно таков истинный художник, таково искусство, которому он обреченно служит».

Если гуманистический протест против несовершенства действительности, столь характерный для русской классики XIX в., обуславливался противоречиями своего времени, отвечал передовому их пониманию, то послеоктябрьская эпоха требовала от художника перехода уже на позиции социалистического гуманизма, она уполномочивала его в свою очередь на более высокие требования к жизни, ибо жизнь могла их удовлетворить.

Ошибки Федина не были только его ошибками, и Горький отвечал не только ему, споря и против подчинения писателя действительности и против отрыва от нее. «Художник,— говорил он Д. Хаити,— должен жить не в действительности и, конечно, не в стороне от нее, а *над* нею. Тогда-то он и найдет в ней то существенное, что даст ему неоспоримо ценный материал — для подлинного искусства» (29 ноября 1927 г.).

По сути дела, спор шел об одном из существенных принципов социалистического реализма, о новом характере искусства социалистической эпохи, не противоречившем искусству классиков, но творчески развивавшем его традиции в новых исторических условиях.

Именно этот ход мысли Горький позднее отчетливо сформулировал в письме к Афиногенову в апреле 1933 г.: «Мы, литераторы, начинаем говорить о необходимости социалистического реализма в литературе,— реализм этот может быть основан только на социалистическом опыте работы, произведенной партией за 15 лет. Вам надобно научиться смотреть на прошлое и настоящее с высоты целей будущего».

В богатой теоретическим содержанием переписке Горького и Федина ставились очень существенные для развития советской литературы творческие проблемы, и решались они Горьким настойчиво и последовательно прежде всего в плане новаторских тенденций советского искусства. Но вместе с тем Горький, формулируя эти задачи, очень ясно представлял себе те реальные трудности, которые встречало осуществление этих задач в противоречивой обстановке двадцатых годов,— в частности, трудность проблемы приближения к действительности писателей старшего поколения.

В этом отношении поучительно значение, которое придавал Горький развитию исторического романа. Его интерес к историческому роману на первый взгляд приходит в некоторое противоречие с интересом к изображению современности, где рождался тот большой человек, о котором он говорил. В ряде писем Горький высказывает эту мысль с большой резкостью: «...крупнейшие произведения искусства почти всегда — не современны. „Война и мир“ разве современна по годам, когда писалась? А — „Фауст“? „Дон-Кихот“?» (Федину, 17 сентября 1925 г.).

По воспоминаниям А. Чапыгина, Горький еще в 1918 г. говорил ему: «Вы не гнушайтесь истории, всякий исторический сюжет, изображенный художником слова, по настоящим историческим документам, равен современности» (цит. по ст.: С. Р о м м. Алексей Чапыгин.— «Звезда», 1938, № 10, стр. 238).

Вряд ли следует видеть в этом подчеркнутом внимании Горького к исторической теме в советской литературе только борьбу его с рапповской критикой, прямолинейно трактовавшей эту тему как уход писателя от современности — хотя, говоря «всякий исторический сюжет», Горький прибегает, конечно, к полемической гиперболе (см. Е. Н а у м о в. М. Горький в борьбе за идейность и мастерство советских писателей. М., 1958, стр. 239). Вопрос, очевидно, был сложнее: историческая тема, в особенности для писателей старшего поколения, была во многих случаях тем подступом к пониманию движения народных масс, без которого они не могли приблизиться и к пониманию современности, найти возможность для творческого своего проявления.

Выход к современности через историю был очень существенным путем и для К. Тренева («Пугачевщина»), и для А. Толстого («Петр Первый»), и для многих других писателей. Ю. Тынянов мог полноценно проявить себя в «Кюхле» и «Вазир-Мухтаре» и, стало быть, по-своему включиться в процесс формирования социалистической культуры, тогда как прямолинейное обращение к современной теме вряд ли могло привести

к раскрытию его возможностей художника. То же можно сказать и об О. Форш, об А. Чапыгине, С. Сергееве-Ценском и многих других писателях того времени. Каждый по-своему — они могли повторить вслед за Хлебниковым: «В пугачевском тулупчике я иду по Москве». Постепенно подходили к современности и такие писатели, как Л. Леонов или К. Федин. «Я избегаю говорить о вещах остро современных, как хозяйственное строительство, новый быт и прочее, — писал в 1927 г. Леонов, — ибо нужно время, чтобы получился отстой, кристалл, формула без исключений и мелочей» («Октябрьская газета». М., Федерация советских писателей, 8 ноября 1927 г.). Федин писал Горькому: «...почти не прикоснулся к теме, с которой все моя однокашники давным-давно обвенчались, — к современности. В „Анне Тимофевне“, да и во всем „Пустыре“ я отгораживался от нее умышленно, ожидая „своего времени“» (7 апреля 1923 г.).

Настойчивое утверждение равноправности исторической темы было для Горького одним из путей отстаивания, так сказать, свободы творческого жеста писателя, вытекало из понимания того, что писатели очень разными дорогами идут в лагерь революционной литературы и требуют поддержки и ободрения, в особенности в условиях групповой борьбы в литературе двадцатых годов. И здесь проявлялось то стремление «раздуть огонек, приободрить», которое определяло собой весь тон переписки Горького с советскими писателями.

Развитие исторического жанра прежде всего в литературе двадцатых годов в основном и было связано с этим сложным процессом включения ряда художников в развитие советской литературы через осмысление исторического прошлого страны, исторического прошлого революции (не говоря, конечно, о специфической творческой одаренности тех или иных писателей в области исторического жанра).

Утверждение равноправности исторического сюжета, по сути дела, требовало от писателя умения современно его осмыслить, понять его в интересах и с точки зрения современности, что тем самым включало его в общий поток развития советской литературы в целом.

5

Роль Горького как выразителя передовых тенденций развития советской литературы очень отчетливо обнаружилась в 1928 г., когда к Горькому обратился Ромен Роллан в связи с появлением за границей фальсифицированного «Письма русских писателей» о положении литераторов в Советском Союзе. Горький ответил Ромену Роллану обширным письмом, которое было частично опубликовано в «Правде», 1928, № 70, ст 23 марта, и Роменом Ролланом в журнале «Еurore», 1928, № 63, от 15 марта. Следует процитировать здесь это письмо более полно по рукописи Горького, поскольку оно является очень существенным документом, разносторонне раскрывающим понимание Горьким путей развития советской литературы:

«Вам пишут, что „в России нет литературы“. Странное утверждение. Почему бы ей не быть? Трудно представить страну, в которой не было бы литературы, ибо абсолютно безграмотных стран — не существует.

Вы спрашиваете: что я думаю о молодых литераторах? Прежде всего — меня удивляет их обилие, я рассматриваю это явление как неоспоримый признак развития литературы в „широту“. Сейчас в России — сотни писателей, количественно они все растут с быстротою, которую я не умею объяснить ничем, кроме талантливости, присущей всей массе моего народа, который, наконец, начинает чувствовать и осознавать свое „я“, его ценность и его право на свободу творчества во всех областях жизни.

[Истекший год дал несколько очень заметных фигур, возбуждающих хорошие надежды. Это: Фадеев, автор романа „Разгром“, Андрей Платонов, Заяицкий, Леонид Борисов, Нина Смирнова, поэт Н. Тихонов дал книгу прекрасной прозы.

Крепко встали на ноги такие талантливые люди, как Леонид Леонов, Бабель, Всеволод Иванов — ныне редактор журнала „Красная новь“, хотя он не коммунист, Константин Федин, Владимир Лидин, Борис Пильняк, Сергей Семенов, рабочий, очень оригинальный талант, несколько зависимый от Кнута Гамсуна, — хорошая зависимость, на мой взгляд! — Зоценко разменился на мелкие рассказы, что не умаляет его

талапта, он постепенно переходит от юмора к бытовой сатире; ему сопутствует хороший юморист Валентин Катаев, автор повести „Растратчики“, написанной в традиции Гоголя. Хорошо растут Александр Яковлев, Каверин. Мне трудно перечислить всех, кто заслуживает не только упоминания, но и похвал. Из писателей дореволюционного времени много и отлично работают Сергеев-Ценский, Михаил Пришвин, Константин Тренев, Никандров, Вересаев, Иван Вольнов, Ольга Форш. Алексей Чалыгин напечатал прекрасный роман „Степан Разин“. Поэт Сергей Клычков [написал] два интереснейших романа, немало пишет Алексей Толстой, как всегда превосходный рассказчик, выпустил книгу рассказов Иван Новиков.] Мне кажется, что сейчас во главе русской художественной литературы стоят два совершенно изумительных мастера. Это — Сергеев-Ценский и Михаил Пришвин, — книгу последнего вы должны на днях получить.

Вероятно, даже наверное, я забыл упомянуть многих, книги некоторых еще не читаны мною; я боюсь утомить вас перечислением литераторов, работающих в журнале „Сибирские огни“, — среди них есть люди несомненно крупных дарований.

Не говорю о поэтах, считая себя плохим ценителем стиха. Но среди них есть признанные величины: [Пастернак, Тихонов, Асеев, Жаров, Казин, Сельвинский, Орешин и пр.]

Возникает художественная литература среди народностей Кавказа, черкесов, осетин, среди казанских татар. Да, в России есть и быстро растет прекрасная литература, и я, зачитываясь ею, очень огорчаюсь тем, что Европа слишком мало обращает внимания на эту страну и на ее творчество, слишком усердно ищет в ней дурного, враждебно игнорируя хорошее.

Я, разумеется, понимаю, что хорошего еще мало для страны с населением 150 миллионов. Не надо забывать, что этот народ только десять лет тому назад отвоевал для себя доступ к жизни культурной и только что начинает ощущать жажду культуры. И уже есть села, где 140 дворов выписывают 32 издания, уже в России печатаются миллионы газет, журналов, популярно-научных брошюр. Литераторов, конечно, еще мало для этой страны. Но я совершенно уверен, что те сотни людей, прозаиков и поэтов, которые начинают писать теперь, через пять — десять лет дадут великолепных мастеров словесного искусства.

Цензура? В свое время я был не очень цензурным писателем и знаю, что это такое. Знаю также, что „общественная“ цензура не лучше „государственной“. Лично я теперь не испытываю на себе давления цензуры, но жалобы на нее слышу часто, и нахожу, что большинство их — справедливы. Не знаю, кто цензурует рукописи, но вижу, что делается это очень плохо и капризно. Пропускаются книги, казалось бы, явно еретические с точки зрения, принятой властью, и поднимается компрометирующий власть шум по поводу, например, очень неудачного, но лишенного всякой „контрреволюционности“ романа, а пьеса, сделанная из этого романа — ставится на сцене. Это — не один случай. Но о каком-либо особенно свирепом озорстве цензуры, весьма частом при старом режиме, я не слышал.

Бальмонт обвиняет Советскую власть в самоубийстве Есенина? Для меня Бальмонт — человек, слишком далекий от действительности для того, чтоб судить о ней более или менее правильно. К тому же, он, очевидно, забыл, что им написан цикл стихов „Серп и молот“ и это стихи характера дифирамбов Советской власти. Получив разрешение на выезд за границу, он тотчас же объявил себя врагом „коммунизма“, и, конечно, это очень плохо отозвалось на Блоке и Сологубе, которые тоже хлопотали о разрешении выехать.

Драма Есенина — это драма глиняного горшка, который столкнулся с чугуном, драма человека деревни, который насмерть разбился о город. Я думаю, что эта драма не однажды повторится в России, но не понимаю, как можно винить в этом Советскую власть? Этого типа драмы неизбежны при всяком режиме. О Есенине уже создана очень большая литература, она очень хорошо объясняет причины преждевременной гибели талантливого поэта.

Я не знаю, кто такой Пашуканис и за что он расстрелян. Гумилева расстреляли как участника политического заговора, организованного неким Таганцевым. [Таганцева я знал, это был болван и бездарнейший парень.]

Блок был „доведен до безумия“? Не знаю, был ли. [Но мое впечатление: он был болен атрофией воли.] Его статьи „Кризис культуры“ и „Кризис гуманизма“ были написаны, кажется, до большевиков. Статьи эти свидетельствуют о крайнем его пессимизме. Но поэма „12“ была написана им после этих статей, как и стихи, посвященные Зинаиде Гиппиус, они заключались строчкой „Интернационала“. Я никогда не слыхал от Блока осуждения Советской власти. Мне кажется, что у него была; совершенно атрофированная воля к жизни. Разрешение на выезд он получил, но уже не мог воспользоваться им, был болен.

Сологуб — действительно превосходный поэт, но — несколько смешно, когда его называют мучеником. Он был пессимистом „по профессии“ — по главной и единственной теме, избранной им, но он не был пессимист „по натуре“. Впрочем, я его мало знал и, должен сказать, не любил как человека. Но — удивительно талантливый поэт был. А жена его была совершенно невыносимая истеричка. Ее сестра и брат тоже кончили самоубийством. После ее смерти Сологуб, как говорят, некоторое время приказывал ставить к обеду ее прибор. Мне это кажется плохой игрой.

Бунин и его товарищи пишут о жестокости Советской власти. Я не могу себе представить человека мягким, раз он находится в постоянной борьбе ради самозащиты.

Наконец: что такое Советская власть? Мне кажется, пора уже перестать рассматривать ее как группу интеллигентов. Всем известно, что за десять лет несколько десятков большевиков-интеллигентов умерло и многие потеряли работоспособность, о чем я, разумеется, искренно жалею. Советская власть по природе своей становится все более действительной властью рабочих и крестьян. Это — партия большевиков, несколько десятков тысяч рабкоров и селкоров, 620 тысяч „делегатов“ с фабрик, заводов и от деревень.

Народ — жесток. Бунин хорошо знает это, он мастерски, кошмарно написал об этом ряд рассказов. Казалось бы, что ему следует знать, что в России немало таких, как полужувер, полуребенок „Захар Воробьев“, милый и страшный мужик, герой его рассказа, и что вообще люди его мрачных рассказов еще живы. Затем и ему и другим — действительно „несчастливым“, как вы их называли, и жалким, прибавлю я, — следовало бы знать, что Россия — страна большевиков, страна максимальных требований. Бакунин, Кропоткин, Толстой, Ленин, большевики — в одну сторону. Константин Леонтьев, Победоносцев, Достоевский и т. д. — в другую.

Искренно говорю вам, дорогой Роллан, очень тяжело мне наблюдать процесс морального разложения русской эмиграции, эту болезненную гнилую злобу ее на русский народ, науськивание ею европейской прессы на Советскую власть, полемику между собою, скандалы и клевету, ложь на всех, кто иначе верует. Почти всех „вождей“ эмиграции я в свое время знал, многие казались мне людьми действительно высокой культуры, искренними демократами и гуманистами. Как-то неловко, стыдно за людей! (АГ).

Это письмо в переводе на французский язык с незначительными изменениями было направлено Ромену Роллану. Следует, однако, отметить, что в оригинале Горький, очевидно позднее, зачеркнул те абзацы, в которых были названы имена писателей и поэтов, предполагая, судя по помете на полях, дать «перечень и краткие оценки тридцати с лишним авторов». Возможно, что Горький предполагал дать более точную и более широкую характеристику советских писателей, но в целом это письмо, конечно, являлось для зарубежных читателей принципиальным утверждением растущей силы советской литературы, формулировало ее существенные принципы, и — что характерно — говорило о советских писателях именно как об едином лагере революционной литературы, не упоминая о членении ее на отдельные группировки и включая в список наиболее выдающихся советских писателей, представителей самых разных группировок. В этом списке явно сказались и пристрастия Горького: не упомянут, например, Маяковский, не назван Гладков, включены имена некоторых малозначительных литераторов.

Настойчивое подчеркивание в те годы (в частности, в этом письме) значения творчества писателей старшего поколения — Пришвина, Сергеева-Ценского,

Чапыгина — возможно было связано и с тем принципом «приободрения», о котором не раз говорил сам Горький. Подчеркнуть значение культуры слова, которую несли с собой писатели прошлого, сблизить между собой советских писателей различных поколений, ослабить резкие нападки тогдашних критиков, которые были еще не в состоянии понять гуманистическую основу, например, творчества Пришвина («...Ведь через моих зверей люди видны...», — писал Пришвин Горькому 15 мая 1931 г.) — многое, очевидно, учитывал Горький в своих иногда неожиданных и острых оценках, забывая о на шумевшем «Цементе» Гладкова и выдвигая Пришвина, «приободрить» которого в те годы, так же, как С. Сергеева-Ценского или А. Чапыгина, было далеко не лишним.

Обращенное к зарубежным читателям письмо Горького вместе с тем отражало и принципы, если можно так выразиться, той литературной политики, которая, в свою очередь, определяла переписку Горького с советскими писателями. Луначарский был глубоко прав, говоря о том, что «Горький в буквальном смысле слова находится на страже авторитета и морального достоинства нашего великого строительства» (А. В. Луначарский. Статьи о Горьком. М., Гослитиздат, 1938, стр. 107).

С переездом Горького в Советский Союз в его переписке с советскими писателями сокращается место и значение, уделяемое им характеристике литературного процесса. Горький непосредственно участвует в работе Оргкомитета и вслед за тем Союза писателей; встречи с писателями, естественно, во многом заменяют письма, бывшие для Горького основной формой общения с ними в двадцатые годы.

Историко-литературное значение писем Горького связано прежде всего с развитием советской литературы именно в двадцатые годы. В этот период письма Горького, несомненно, были одним из существенных факторов литературного процесса, и их в этом отношении трудно переоценить. Они играли очень большую роль и в тридцатые годы⁴, однако следует учесть, что главную роль приобретают прямые выступления Горького в печати, его многочисленные статьи по вопросам литературы. Как справедливо вспоминает Б. Агапов, Горький «был поистине верховным руководителем нашей литературы, с той только особенностью, что, будучи „верховным“, он неустанно следил, что происходит „внизу“, и находил время и силы непосредственно говорить с литераторами, даже самыми малыми, именно об их работе» (Б. Агапов. О прошлом, о разном, о будущем. — Сб. «Пути в неизвестное». М., 1960, стр. 64).

6

«Может быть, вы напишете <...> кто такой Леонов», — спрашивает Горький Федина (6 июля 1924 г.). «Леонов — москвич, я не знаю его, Всеволод говорил, что он — славный парень» (Федин Горькому, 16 июля 1924 г.).

Переписка Горького с советскими писателями переносит читателя в эту живую и интимную атмосферу становления советской литературы, когда еще не были написаны, а только задумывались многие крупнейшие ее произведения и появлялись — еще никому не известные авторы — будущие корифеи нашей литературы, когда Горький начинал писать «Дело Артамоновых», а «Жизнь Клима Самгина» существовала лишь в рукописи.

Переписка Горького с советскими писателями воссоздает все неповторимое своеобразие литературной эпохи двадцатых годов, ее быт, нравы, человеческие отношения, условия литературной работы, постепенное изменение литературной обстановки, появление произведений, входивших затем в основной фонд советской литературы.

«...Я шел мимо мраморной лестницы в Доме ученых, меня сверху остановил голос Алексея Максимовича: — У меня, Иванов, есть для вас в кабинете одна вещь. Обождите! И он вынес мне пару сапог. — У меня трое сапог, Алексей Максимович, умиленный сказал я. — Мне хватит надолго. — Ничего, сгодятся, берите: отличные рассказы пишете» (Всеволод Иванов. Избранные произведения, т. 1. М., Гослитиздат, 1954, стр. 386).

Так причудливо сплетались в начальные годы развития советской литературы вопросы быта и искусства. Добывание сапог для В. Иванова и башмаков для Ольги Форш

(письмо О. Форш Горькому, май 1921 г.— «Если помните, как-то в телефон вы послали мне ордер на башмаки; если этот посул незатруднительно выполнить, была бы счастлива, ибо мучаюсь в взаимообразных в мужских, как в пароходах»), заботливые запросы о деньгах, хлопоты о выезде писателей за границу, редкие упоминания о собственных трудностях,— все это наполняет письма Горького двадцатых годов. Они характеризуют таким образом не только творческие поиски советских писателей, но и ту реальную живую бытовую обстановку, в которой они находились и знать о которой очень существенно современному читателю⁵.

Но дело не только в этом. Мы говорили до сих пор об освещении проблем литературного процесса в письмах Горького советским писателям, но в этой переписке участвовала и другая, равноправная, сторона: письма к Горькому Федина, Пришвина, А. Толстого и многих других советских писателей, в свою очередь, обрисовывают многие существенные стороны литературной жизни, поднимают большие творческие вопросы.

В каждой из этих индивидуальных переписок — Горького и Федина, Горького и Пришвина, Горького и Gladкова и др.—перед нами разворачиваются, так сказать, самостоятельные сюжеты, обнаруживаются своеобразные характеры советских писателей. Перед нами проходит чрезвычайно интересная человеческая и творческая эволюция Федина, помогающая понять, в частности, и творческую историю его романов, и формирование его художественных принципов; острая переписка с Gladковым очень полно освещает литературную обстановку и споры двадцатых годов; широко рассказывает о своих творческих замыслах А. Толстой и т. д. и т. д.

В письмах Горького и советских писателей к нему широко освещены многие стороны жизни литературного содружества «Серационовых братьев». Многие произведения «серационовцев» Горький одобрял, возлагая надежды на эту группу талантливейшей молодежи. Но наряду с положительными отзывами Горький не раз говорил об ошибках и неудачах отдельных представителей этой группы. Например, в середине февраля 1929 г. он писал Груздеву: «О Серационах вы написали печальную правду. Не растут, а умаляются <...>. А главное: все позволяют действительности одолевать себя, покорно подчиняются фактам. Слуховая и зрительная память, личные кожные раздражения развиваются до чувствительности болезненной, и все это подавляет воображение, домыслы, интуицию» (т. 30, с. 126; о противоречиях в мировоззрении и творчестве «серационовцев» см. также в наст. томе, стр. 171—172, 344, 461).

Наряду с тем, что переписка Горького с советскими писателями позволяет многое увидеть и многое понять по-новому в самом процессе развития советской литературы, она представляет собой чрезвычайный интерес и потому, что полно и богато освещает отдельные стороны этого процесса, вводит в литературоведческий оборот обширный запас всякого рода частных литературных событий, оценок, споров, взаимоотношений.

В этом смысле переписка представляет для историка литературы особый интерес. Непосредственность откликов на события литературной жизни, то, что одни и те же события освещаются с различных точек зрения, интимность этого своеобразного жанра (в письмах высказываются порой суждения, которые еще не готовы для того, чтобы быть вынесенными на широкий суд читателей), упоминание всякого рода бытовых частностей, которые часто не доживают до того, чтобы быть закрепленными на страницах мемуаров,— все это с особенной живостью говорит о характере литературной жизни во всех ее частных подробностях и неповторимых деталях. Недаром Горький с такой любовью собирал свой архив, не раз упоминая о нем в письмах и тщательно готовя его для будущих исследователей.

И, наконец, еще одна — и, быть может, одна из наиболее существенных — сторона этой переписки состоит в том, что в ней с большой полнотой и многообразием раскрывается личность Горького — как она проявилась в живых, непосредственных и своеобразных откликах на самые различные события за период, охватывающий почти 20 лет. Это своего рода роман в письмах, героем которого является Горький, и изучение этого

романа дает чрезвычайно много для представления об этом исключительном человеке.

Уступая и воспоминаниям автора о себе, и воспоминаниям современников об авторе в целостности, в единстве точки зрения, письма обладают и некоторым преимуществом: они дают и более многосторонний и в некотором смысле более объективный материал для представления о человеческой личности сравнительно с тем, какой казалась она тем или иным современникам и — порою — даже самой себе.

Д. Фурманов в свое время записал в дневнике впечатления от «Детства» Горького: «Больше всего меня захватил мальчик, сам Алеша... Я понял только одно: в душе его от природы или там от самых первых впечатлений младенческих лет заложено было столько чистого и надежно-непоколебимого, что он выдержит любую борьбу, не задохнется и не испортится в любой атмосфере. Даже, может быть, чем хуже, тем лучше — тяжелая обстановка только закалит его:

Лишь в пылающем горниле
Закаляется металл».

(Д. Ф у р м а н о в. Дневник 1914—1915—1916. «Московский рабочий», 1929, стр. 93).

Вот эту чистоту и надежную непоколебимость личности Горького, сочетавшуюся с исключительной многосторонностью и глубиной духовного кругозора, не может не почувствовать читатель в переписке, так же как не могли не чувствовать ее современники Горького. «Как вы умеете восхищаться! — писал Пришвин Горькому. — Никто не понимает значения ваших писем с этой стороны» (27 июня 1927 г.). И Федин: «...вы в каждую встречу со мной поражали меня вашим даром видеть всю жизнь в целом, и я восхищался вашим вкусом ко всему, из чего сложена жизнь. Письмо ваше меня поразило именно этой неумирающей вашей жаждой все знать» (7 декабря 1924 г.).

Поражает энциклопедизм Горького. С Каверинным он спорит о бароне Брамбеусе, В. Князеву он показывает, как мало тот знает о народных пословицах, с С. Григорьевым разговаривает об особенностях детской литературы — и всегда с полным знанием дела, со своим собственным пониманием предмета.

«Как-то я зашел к Гржебину, — вспоминает Федин, — чтобы оставить для Горького подарок. Горький был в издательстве, и я передал подарок лично. Это была изданная в Венеции книжечка Нерсеса Клазевского, патриарха всеармянского. Мне показалась она любопытной лингвистически, так как содержала одну и ту же вещь в переводе на двадцать четыре языка. Горький оценил курьез, и мне было приятно, но я тотчас забыл об удовольствии, потому что оно вытеснилось изумлением. Полистав книгу и проверив, — верно ли там двадцать четыре языка, — Горький сказал:

— Да, был такой. Кажется, в XII веке. Он еще другое имя носил. Если не ошибаюсь — Шноргали. Он был не только богослов, но и поэт... Книге место в Публичной библиотеке. Не обидитесь, если я передам?.. А что в Венеции издано, — понятно. Вам известно о тамошней армянской колонии?..

И он стал говорить о венецианских армянах так, будто только что приготовился читать курс по истории Армении...» (Конст. Ф е д и н. Горький среди нас. Двадцатые годы. М., ГИХЛ, 1943, стр. 65—66).

«...Очевидна поразительная широта запросов его исключительно пытливого ума, — пишет С. Д. Балухатый, характеризуя кругозор Горького. — Он всегда интересовался как социологией и общей историей, так и историей отдельных стран, народов, государств, сословий (Гюнтер, Тейлор, Липперт, Зибер, Гиббон, Буассье, Шлоссер, Тьерри, Спенсер, Соловьев, Ключевский, Щапов); следил за философией, в частности был знаком с религиозно-философскими книгами Востока („Буддийские сутты“, „Сутту-Нипату — книга буддийских изречений и псалмов“, буддийский катехизис); всегда интересовался историей религий (Библия, Штраус, Сендерленд) и сектантства. В области истории литературы он не ограничивался прекрасным знанием классического наследия, ведущих течений русской и мировой литературы, но непрерывно знакомился с обширным кругом имен и явлений второго и третьего порядка, поражая в своих цитатах и суждениях подлинной книжной эрудицией; ему были знакомы основные историко-литературные работы (А. Веселовского, Буслаева, Афанасьева, О. Миллера

область словесного фольклора была известна Горькому прекрасно, и сборники памятников народного творчества (Киреевского, Рыбникова, Гильфердинга, Афанасьева, Кириши Данилова, Шейна) были постоянными его спутниками. Область литературы, а рядом с нею и изобразительного искусства (Вазари, Каррьер, Муттер, Рескин) не покрывала всех основных интересов Горького. Его познавательные запросы были безгранично шире и выходили за пределы так называемых гуманитарных знаний. Горький осваивал общие проблемы теоретической физики и строения вещества, знакомился с историей земли и с основами мироздания (Дебо, Котик, Геккель, Лакур и Апфель, Мультион, Лесман). Весь комплекс вопросов материалистического мировоззрения в новейших научных исканиях и достижениях был всегда предметом пристального и горячего внимания Горького» (С. Д. Балухатый. Творческий путь А. М. Горького. — «Известия АН СССР, Отд. общ. наук», 1938, № 5, стр. 39—40).

Но это не только энциклопедизм знаний, это энциклопедизм и мысли, необычайная зоркость, позволяющая видеть новую и неожиданную сторону в, казалось бы, знакомых явлениях. Конечно, это в особенности относится к мыслям Горького об искусстве, иногда спорным, иногда дерзким, но всегда заставляющим увидеть какие-то новые его стороны, подойти к нему с еще не изведанной стороны.

В письме к Каверину (15 января 1924 г.) брошена мысль о том, что «все, что написал Лев Толстой, он написал о себе, так же, как Пушкин, Шекспир, так же, как Гете», в письме к К. Т. Орлову сказано, на первый взгляд, обратное: «В произведениях крупных художников вы всегда найдете ответ на ваш вопрос, почему человек таков, каким он изображен» (т. 30, с. 35). В письме к А. Суркову: «Подлинное искусство всегда превеличивает или преуменьшает» (т. 30, с. 413), а в письме к Федину (9 января 1925 г.) как будто и наоборот: «Искусство — никогда не произвол, если это честное, свободное искусство», или А. А. Демидову (20 апреля 1925 г.): «Пишите честно то, что вам хочется, не считаясь ни с кем и ни с чем, кроме вашего личного опыта и той правды, которую вы носите в себе. Пишите ее, о ней, даже если она вам неприятна, что иногда бывает». Постоянная, настойчивая, тщательная забота о языке и тут же неожиданное заявление: «Гениальные писатели почти все плохие стилисты, неважные архитекторы, а человек у них всегда пластичен до физической ощутимости» (Федину, 20 декабря 1924 г.). Противоречий тут, конечно, нет, здесь только различные грани сложнейшей проблемы, охваченной целостным ее восприятием, глубокой мыслью художника.

Очень характерны для Горького и значительны сами по себе мысли об искусстве, возвращающем человека к свободе: «Художник — человек, обладающий даром волновать ближнего, заставляя его против желания восхищаться, сочувствовать, сострадать и вообще проверять эмоции, которые, воплощаясь в мысли и слова, часто становятся цепями, которые этот ближний сам же для себя и выковал. Иначе говоря, художник возвращает меня к свободе. Вот что!» (Федину, 18 января 1923 г.).

Очень существенна мысль о том, что «контраст светотени в словесной живописи так же необходим, как и в масляной» (М. Россовскому, сентябрь 1933 г.).

Для критика, для историка и теоретика литературы, для читателя все эти щедро разбросанные в письмах Горького мысли об искусстве имеют первостепенное значение. Конечно, как уже говорилось, не всегда и не все суждения Горького мы примем безоговорочно. В некоторых из них и он отдал дань ошибкам своего времени, о чем у нас много писалось. Но живая, страстная, неукротимая, стремящаяся к истине и добру мысль Горького бьется в его письмах и покоряет читателя. «Около вас, — писал ему Алексей Толстой 1 апреля 1933 г., — чувствуется так часто заслоняемая борьбой цель всех усилий — добро. Поэтому я вас очень люблю».

И с особенной яркостью выступает в письмах Горького его безграничная любовь и преданность тому делу, которому он отдал всю свою жизнь: «Литературу люблю до самозабвения и писателя люблю. Какая еще есть радость, кроме любования талантом человека?» (О. Форш, 5 сентября 1926 г.). Даже тогда, когда он говорил о писателях, которые были ему чужды, против которых он выступал резко и непримиримо, он умел сохранять интерес и уважение к их таланту. Он был беспощаден к Ф. Сологубу в своей сатире, направленной против «сологубовщины», но не забывал сказать: «Сологуб, прекрасный поэт» (т. 30, с. 57). Говоря о чуждости ему Андрея Белого, он добавлял:

«...хотя меня и восхищает напряженность и оригинальность творчества Белого» (Б. Пильняку, 10 сентября 1922 г., см. также письмо к Федину, 27 марта 1927 г.). Но подлинную высоту творчества он видел там, где талант соединялся со служением народу, именно к этому звал он писателей: «Писательский путь... усеян гвоздями... ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее... честному писателю и революционеру пройти по этой дороге — великая честь» (И. Б а б е л ь. Начало. — Альманах «Год XXI», кн. 13, 1938, стр. 79).

Письма Горького могут быть прочитаны по-разному: глазами критика и художника, биографа и историка литературы и скольких еще других, — каждый найдет в них для себя новое, ценное, нужное и дорогое, — но больше всего увидит в них читатель, который взглянет на них глазами того, к кому они прежде всего были обращены: глазами человека.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Здесь и далее без указания источника цитируются письма, вошедшие в настоящий том «Лит. наследства».

² Характерна запись В. А. Десницкого: «В одной из наших бесед, не помню по какому поводу, он заговорил о своей учебе у предшественников. „А знаешь, — в раздумьи заговорил он, — если и учился я у кого-нибудь, то, пожалуй, только у Зарубина“» (В. А. Десницкий. М. Горький в истории русской литературы. — «Известия АН СССР. Отд. общ. наук», 1938, № 5, стр. 70). Имеется в виду кн.: П. З а р у б и н. Темные и светлые стороны русской жизни, т. I—II. СПб., 1872.

³ Скептически оценивая значение критики для непосредственного творческого роста художника, Горький отнюдь не ограничивал ее значения в целом: «Титул „инженер человеческих душ“, — говорил он, — у нас относится к литератору. Я думаю, что критик не менее заслуживает этого титула в том случае, если он работает в согласии и сотрудничестве с литератором» (т. 27, с. 414). Строго отзываясь о недостатках работы критиков двадцатых и начала тридцатых годов («...на Съезде писателей критика не заявила о том, что она существует». — А. С. Щербакову, 19 февраля 1935 г., т. 30, с. 381), Горький замечал все же: «И все-таки за критикой надо признать: кое-что сделано ею и делается» (т. 27, с. 415).

⁴ Интересные данные, относящиеся к деятельности Горького в тридцатые годы, содержатся в его письмах к А. С. Щербакову, опубликованных в «Историческом архиве», 1960, № 5.

⁵ Многое, характеризующее и деятельность Горького той эпохи и самую эпоху, до нас не дошло: «Я думаю, — вспоминал К. Чуковский, — что, если бы во всех учреждениях собрать все письма, в которых Горький ходатайствует о русских писателях, получилось бы по крайней мере томов пять или шесть, потому что Горький в то время не писал ни романов, ни повестей, ни рассказов, а только эти бесконечные письма» (К. Чуковский. Горький во «Всемирной». — «Горький». Сб. статей и воспоминаний. М., Госиздат, 1928, стр. 339). Но и то, чем мы располагаем, позволяет ясно представить ту постоянную заботу о развитии советской литературы, которую проявлял Горький.